

Семантика фронтальной нелояльности в приграничных районах Внутренней Азии

Иван Олегович ПЕШКОВ

Московская высшая школа социальных и экономических наук, Москва, Россия, ivanpeshkov2007@ya.ru

Аннотация. В исследованиях политической лояльности принято рассматривать проекции и манифестации лояльности как динамический процесс, открытый альтернативам и подчиненный текущей культурной и социальной ситуации. Лояльность видится как трудный выбор субъекта среди многих культурных и конфессиональных альтернатив, во многом первичный по отношению к классическим понятиям "идентичности" и "этничности". В перспективе фронтальной опасности, представленной в статье, драма нелояльности состоит не в трудности выбора, а в невозможности соответствовать заданному уровню политической и культурной лояльности. Приведенные примеры представляют проблему несмываемой вины людей, исключенных из воображаемого сообщества лояльных граждан и заключенных в территориальную ловушку политически опасной территории, непосредственно связанную с дискурсами фронтальной нелояльности. В этой перспективе проблема нелояльности нерешаема, так как каждое новое решение порождает новые подозрения.

Ключевые слова: Забайкалье, забайкальские казаки, гражданская война, граница, лояльность, память

Для цитирования: Пешков И.О. Семантика фронтальной нелояльности в приграничных районах Внутренней Азии // Известия Восточного института. 2023. № 3. С. 60–74. <https://doi.org/10.24866/2542-1611/2023-3/60-74>

Original article
<https://doi.org/10.24866/2542-1611/2023-3/60-74>

Semantics of frontier disloyalty in the border regions of Inner Asia

Ivan O. PESHKOV

Moscow School of Social and Economic Sciences, Moscow, Russia, ivanpeshkov2007@ya.ru

Abstract. In research on political loyalty, projections and manifestations of loyalty are considered as a dynamic process open to alternatives and subordinated to the current cultural and social situation. Loyalty is seen as a difficult choice of a subject among many cultural and confessional alternatives, largely primary in relation to the classical concepts of "identity" and "ethnicity". In the perspective of frontier danger presented in the article, the drama of disloyalty is not in danger of choice, but in the impossibility of meeting a given level of political and cultural loyalty. The examples shown represent the problem of indelible guilt of people excluded from the imaginary community of loyal citizens and imprisoned in the territorial trap of a politically dangerous territory directly related to the discourses of frontier disloyalty. In this perspective, the problem of disloyalty is not solvable, since each new decision generates new suspicions.

Keywords: Transbaikalia, Transbaikal Cossacks, Civil War, Border, loyalty, memory

For citation: Peshkov I.O. Semantics of frontier disloyalty in the border regions of Inner Asia" // Oriental Institute Journal. 2023. № 3. P. 60–74. <https://doi.org/10.24866/2542-1611/2023-3/60-74>

Связь проекций нелояльности с воображаемой географией советского фронта долгое время была на периферии интересов исследователей. Статья предлагает восполнить этот пробел, рассматривая связь проекций фронтальной нелояльности с идеей приграничного пространства Внутренней Азии как анти-места полного опасности и неожиданных встреч. Представляя выбор на шкале лояльность/нелояльность как проблему дискурсивного освоения приграничного пространства, эта перспектива дает возможность показать прямую связь проекций и манифестаций фронтальной не-лояльности с представлениями советских граждан о границах этнической солидарности, мира по ту сторону границы и критериев примирения после долгой гражданской войны. Главной темой статьи будут представления жителей Забайкалья и советского контингента в МНР о специфике

Первая версия статьи была опубликована под заголовком "In the Shadow of "Frontier Disloyalty" at Russia-China-Mongolia Border Zone" в журнале "History and Anthropology" (2017. Vol. 28. No. 4. P. 429–444).

© Пешков И.О., 2023

политической нелояльности сообществ, связанных с антикоммунистическим восстанием Атамана Г.М. Семенова. На первый взгляд ситуация выглядит достаточно просто: после победы коммунистов значительная часть забайкальских казаков в Забайкалье, Монголии и Внутренней Монголии негативно восприняла политику расказачивания в регионе и, как писали в сталинское время, "затаила обиду" на новую власть. Опираясь на забайкальских казаков, баргутов и харчин-монголов Хулун-Буира, Г.М. Семенов свергает просоветское правительство и одновременно пытается реализовать две модели политической власти: временной военной диктатуры с декларацией возвращения к республиканской форме власти и панмонголистского теократического государства, направленного на объединение всех монгольских народов Китая и России. После поражения белой государственности в Забайкалье, наиболее политически активная часть эмиграции продолжала попытки переходить границу и бороться на территории СССР при большей или меньшей поддержке китайских и японских военных. После разгрома Квантунской армии все места компактного проживания эмиграции попадают под контроль красной армии и НКВД, после чего политическая активность казачьей эмиграции практически прекращается. Забайкальские казаки в СССР и за рубежом полностью деполитизируются, постепенно вливаясь в советскую жизнь или превращаясь в новое эмигрантское сообщество (казаки из Трехречья), ориентированное на мирное сосуществование с советской властью. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Стерилизация приграничных районов Забайкалья и Монголии, смертная казнь Г.М. Семенова (1946) и массовые репрессии в Трехречье (1945-1947) стали не концом, а началом новой истории символического присутствия семеновцев в Советском Забайкалье, МНР и Китае. После смерти Сталина рассказы об Атамане и его последователях принимают характер коллективной ретро-галлюцинации о присутствии в регионе трансграничной сети антикоммунистического сопротивления, угрожающей каждому советскому человеку. Советские специалисты в МНР, солдаты Забайкальского военного округа и советского контингента МНР, мигранты в Забайкалье из других частей СССР и даже офицеры КГБ настолько захвачены полуофициальной легендой присутствия семеновцев, что начинают распознавать семеновцев в маргинальных группах русских старожилов Внутренней Азии, слабо или вообще не связанных с казаками мятежного атамана. Следует заметить, что это распознавание, являясь несомненно дискриминационной практикой, все-таки было формой символического исключения, практически не поддержанной репрессивным аппаратом советского государства. Парадоксально, это только увеличивало силу легенды, превращая ее в полуофициальное знание, как по-настоящему выглядят дела в приграничных районах.

Используя известное противопоставление Розы Брайдотти [16, с.14] между метафорой и социальным местоположением, можно поставить вопрос о процессе превращения метафорического описания приграничного пространства (как места манифестации политической нелояльности) в реальные социальные местоположения членов воображаемого не-сообщества (the imagined noncommunity) [26]. Почему пустые и стерильные приграничные пространства становятся местом воображения уходящих за кордон сетей политического (антикоммунистического) насилия? Почему эти легенды создают эффект присутствия и отличаются дееспособностью: определенные группы не только распознаются в категориях мифологического словаря, но и сами начинают видеть и вести себя согласно предложенным схемам? Ответы на эти вопросы требуют не столько внимания к позднесоветским практикам подозрения, сколько к специфике советских представлений о приграничных районах, оживляющих чувства опасности и недоверия. Нелояльность в этом контексте становится отличительным признаком не только воображенного не-сообщества, но и воображенной территории, скрывающей врага и неотделимой от него. Как будет показано, проекции фронтальной опасности могут порождать подозрения в нелояльности приграничных жителей независимо от радикальных изменений в идеологии страны или отношения местных жителей к предложенным моделям описания.

Генеалогия не-сообщества: от лояльного сословия к хищникам фронта

В советской картине мира граница воспринималась как источник опасности и пространство столкновения с враждебным миром. Соседство с политическими оппонентами легитимизировало милитаризацию приграничных регионов и продлеvalo до бесконечности атмосферу гражданской войны на этом участке территории. Противоречие между политической стерильностью населения и эмоциональной включенностью в защиту рубежей решалось при помощи воспроизведения конфронтационных мифологем, перформативная сила которых состояла в способности смешивать темпоральные режимы и ставить под сомнение фронтальную лояльность местного населения [21].

Рассказывая о травматическом опыте экспансии советских моделей жизни, эти легенды одновременно были способом переживания культурных иерархий, страхов и полусознанной внутренней потребности в материальном существовании врага. Их приграничная локализация включала их в перспективу советской границы как контакта с неведомым и враждебным. Поэтому в отличие от *классических* врагов советского человека фронтальные *выображенные не-сообщества* были сообществами люминальных существ, сотканными из противоречий советской картины мира. В этой перспективе послесталинское советское общество не столько настроено на уничтожение врагов, сколько на создание и использования их для переживания сложных темпоральных режимов и воплощения культурных иерархий советского ориентализма.

Историческим прототипом воображаемого не-сообщества семеновцев во Внутренней Азии была часть сообщества Забайкальских Казаков, поддерживавшая белую государственность в Забайкалье и продолжавшая с разной интенсивностью борьбу с советской властью до конца Второй мировой войны. Судьба казаков Восточного Забайкалья напрямую связана с приграничным статусом территории. Роль режима управления границей является здесь ключевой: с одной стороны, сообщество создается вместе с границей и для ее защиты, с другой – смена приграничного режима после победы большевиков стала основным фактором уничтожения казачьего Забайкалья. Следует заметить, что определенные сомнения в их способности выполнять роль защитников границы появляются задолго до революции, причем как со стороны правительства, так и революционно настроенной интеллигенции. С этим были связаны как культурные факторы, так и появление новых подходов к модернизации приграничного контроля отсылающих к европейским биополитическим практикам того времени [17]. А. Ремнев так описал отношение к азиатским казакам в последние десятилетия империи:

"Таким образом, если над казачеством еще не нависла реальная угроза, то задолго до революции стали вызревать подозрения в его экономической и социокультурной неэффективности. Инициаторами были переселенческие чиновники и этнографы, среди которых было немало политических ссыльных народников. Народнический дискурс, с его трепетным отношением к русскому крестьянину (особенно к бедствовавшему переселенцу) и угнетаемому инородцу, обреченному на "вымирание", захвативший широкие слои российской интеллигенции (не исключая и части чиновников), не мог не отразить сложного отношения к казакам, которые с трудом вписывались в представления о замученном царизмом народе. Сословная замкнутость казаков и территориальная "чересполосность" с крестьянскими и инородческими поселениями создавали дополнительные трудности для миграционной политики и проведения преобразований в управлении и судопроизводстве, что рассматривалось важной частью процесса модернизации" [12, с. 103].

Кроме этого, сомнения касались способности казаков азиатской России быть проводниками цивилизационной миссии, их расовой частоты и опасной дружбы с казахами, монголами и китайцами. В эпоху позднего имперского национализма смешанная культура казаков воспринималась не только как предательство цивилизационной миссии и расовая деградация, но и как опасность перерастания сословной обособленности в попытки сепаратизма. В случае Забайкальских

и непосредственно с ними связанных Амурских и Уссурийских казаков сильное биологическое и культурное влияние монголов и налаженные экономические отношения с китайцами ставили сообщество в опасной близости от все более популярного мифа желтой опасности [21]. Эти представления возродятся с новой силой во время гражданской войны, когда стереотип управляемых японцами азиатских орд Семенова и Унгерна будет популярен у красных и белых.

Необратимые перемены в жизни казачьего Забайкалья, приносит Первая мировая война. Трудные экономические условия и отсутствие мужчин рушат патриархальный уклад казацкой жизни в регионе: казацки массово вовлекаются в трансграничную торговлю опиумом, немобилизованная молодежь открывает для себя левые идеи, наиболее экономически слабые группы пытаются покинуть сословие и избежать мобилизации. Отречение Николая Второго от престола радикально изменило статус и ситуацию забайкальских казаков, превращая их из защитников монархического государства в граждан новой республики. В случае Забайкальских казаков их преданность царю была переоценена как властью, так и интеллигенцией: основная масса казаков одобрила смену государственного строя и не поддерживала идей реставрации монархии [7, с. 7]. Более того, в первые месяцы республики Забайкальское казачье войско становится первым и единственным добровольно самораспустившимся из всех казачьих войск России. 16 апреля 1917 года на 1-ом Областном съезде Забайкальского казачьего войска (16.04.1917) была принята резолюция об уничтожении казачьего сословия "как пережитка старины и следствие существования постоянных армий" [7, с. 14]. Решения съезда о самороспуске вызывали протест как со стороны более консервативных станиц, так и воинских частей на фронте. Эти противоречия обострились после свержения большевиками Временного правительства, окончательно разделившего казаков на два непримиримых лагеря.

С этого момента важной политической фигурой региона становится есаул 1 нерчинского полка Григорий Семенов, прошедший за два с половиной года путь от командира казачьей сотни до генерал-лейтенанта-командующего всеми вооруженными силами Российской Восточной Краины [13, с. 29]. Успех молодого казака, практически лишённого политического опыта, опирался на союз с японской армией, широкое привлечение монголов и китайцев, а также контроль над западной частью полосы отчуждения КВЖД. Рожденный в селе Куранжа станицы Дурлуговская Григорий Семенов был типичным представителем русско-китайского фронта. Потомственный казак русско-бурятского происхождения, знающий монгольский язык и хорошо ориентирующийся в монгольских делах, Семенов с самого начала согласовывает свои планы со сложной архитектурой российско-китайского фронта: ростом китайского влияния на Халха-Монголию, внутримонгольским конфликтом в Барге и институционализацией бурятского национального движения. Сформированный на границе с Китаем Особый Маньчжурский Отряд объединил баргутов и монголов из Хулун-Буира с казаками и офицерами русской армии и стал одним из первых белогвардейских формирований России. После падения советской власти в Сибири Семенов становится наиболее влиятельным лидером белого движения в регионе. Продолжая решительные, но малоэффективные попытки контролировать огромную территорию, правительство Семенова пытается упорядочить реквизиции, институционализировать террор против коммунистов и борется с красными партизанами. Попытки сохранения автономии от правительства А. Колчака привели к затяжному конфликту на линии Омск-Чита и обвинениям в сепаратизме, усиленными слухами о панмонголистских идеях Атамана. Слухи были вполне обоснованными, Семенов всегда рассматривал монгольский вопрос как один из главных приоритетов своей политики [15]. Леонид Курас так описывает поворот к идее общего монгольского государства:

"В процессе укрепления собственной власти в Забайкальской области атаман Г.М. Семенов перестает признавать Верховного правителя адмирала А.В. Колчака и приступает к реализации идеи о создании панмонгольского государства. Реализация этой идеи совпала по времени с успехами бурятского национального

движения. Его действия находят понимание и поддержку у лидеров бурятского национального движения, у которых в годы гражданской войны был свой взгляд на проблему панмонголизма. Это было обусловлено тем, что надеждам получить автономию для бурят у Сибирского правительства А.В. Колчака не суждено было сбыться. Более того, к самой идее автономии для бурят колчаковская администрация отнеслась крайне отрицательно, усмотрев в ней попытку разрушить унитарное государство" [8, с.168].

При поддержке атамана Семенова и майора Сузуки в 25 февраля 1919 года съезд панмонголистов в Чите объявляет о создании Монгольского Федеративного государства под предводительством Ничи Тойн Богдо Мэндбаяра из Чжалайта [4, с. 29]. Государство со столицей в Хайларе должно было объединить Забайкалье, Баргу и Внутреннюю Монголию. Правительство нового государства составляло сложную сеть людей с абсолютно разным политическим и социальным опытом: бурятских ученых, монгольских и казачьих полевых командиров, лам и монгольских князей. Переоценка поддержки Японии, бойкот со стороны европейских государств и США, а самое главное равнодушное отношение Урги не давали шансов на реализацию этого плана: провозглашенное государство просуществовало только семь месяцев (февраль–сентябрь 1919 г.). Кроме этого, огромную роль сыграли межплеменные противоречия: если для российских бурят главным было избежать вовлечения в противостояния красных и белых, то для монголов приоритетом было сохранение хрупкой автономии Барги. Смерть Нэйсэ-гэгэна от рук китайского правительства стало символом окончательного политического поражения идеи объединения монголов при поддержке Семенова.

Не смотря на скромные успехи панмонголистского проекта, сама попытка перечеркнуть имперские границы была воспринята крайне враждебно как красными, так и белыми. Обеими сторонами гражданского противостояния Семенов представляется не просто как мятежный атаман, но как опасный сепаратист, представляющий угрозу не только политическим противникам, но и целостности России. После вывода японских войск семеновцы уходят из Забайкалья в Китай и Монголию. Для активной и политизированной части забайкальских казаков Монголия становится транзитной страной на юго-запад или на восток. Основная часть казаков уходит в район Трехречья в Северном Китае, который становится местом массовой, в основном организованной миграции казаков. В отличие от экономически незащищенных и рассеянных городских русских диаспор, аграрное сообщество Трехречья прекрасно вписалось в экономику Хулунбуира [3]. Казаки сохраняли собственные модели социальной организации, религию и сильную экономическую позицию [20]. Несмотря на это, жизнь на новом месте была достаточно сложной. Существование "советского Забайкалья" и "семеновского Трехречья" не могло быть мирным. В восприятии советских людей Трехречье становится символом реакции, агрессии приграничного бандитизма. Одновременно само Трехречье становится местом проведения карательных акций красных партизан и НКВД. Создание Маньчжоу-Го привело, с одной стороны, к приостановке советских карательных акций, с другой – к полупринудительному участию эмигрантов в защите границы. Это во многом окончательно демонизировало сообщество в глазах советского общества. Фактор реальной и мифической коллаборации во многом определил судьбу сообщества после 1945 года. После разгрома Квантунской армии начинается постепенное перемещение трехреченских казаков в СССР сначала в форме принудительного вывоза в советские лагеря [2], а после смерти Сталина полупринудительной репатриации с ограничением поселения до Северного Казахстана и Урала. Только в 1994 году 15 семей вернулось в Забайкалье в поселок Сенькина Падь рядом с Приаргунском [22]. Следует заметить, что существовало еще одно направление эмиграции. Опасаясь репрессий, значительная часть казаков эмигрировала через Шанхай в США, Канаду, Австралию и Филиппины, создавая собственные поселения и занимаясь сельским хозяйством. Можно отметить, что неизбежная демилитаризация сообщества происходила одновременно с ростом его символической роли в культурной политике советского Забайкалья. "Власть

Атамана" становится воплощением абсолютного зла и политического садизма, абсолютно не поддающегося рациональному объяснению. Как в научной, так и популярной литературе начинается инфляция количества жертв семеновского террора и распространение апокалиптических описаний семеновских застенков [13]. Правление Семенова становится главной официальной травмой Забайкалья, все региональные места памяти подчинены комеморации жертв семеновского правления. Реальные и вымышленные преступления семеновцев становятся важным элементом идентичности советского Забайкалья, создавая образ абсурдного царства террора до сегодняшнего дня, определяющий восприятие прошлого региона¹.

Атаман и его последователи были демонизированы не только большевиками, но и Омским правительством Колчака (за несубординацию и сепаратизм) и частью американского контингента (как союзники японцев). Следует заметить, что существует как минимум несколько независимых традиций демонизации Семенова, слабо или вообще несвязанных между собой. Этот негативный консенсус во многом до сих пор определяет способы описания власти Атамана в категориях гуманитарной катастрофы. Попытка удержания политической автономии, коллаборация с японцами, слом имперской географии для панмонголистского проекта и "неудержимая казачья вольница", с точки зрения советских и постсоветских историков, определяли и определяют однозначно негативную оценку атамана и его людей. Если в советской историографии доминировали кровавые подробности репрессий против коммунистов, то в постсоветский период главным обвинением является несубординация правительству Колчака, "панмонголистская авантюра" и *продажа Родины* японцам. Достаточно типичной является негативная оценка дальневосточного историка С.Н. Савченко:

"Вместе с тем Семенов, продолжая проводить политику неподчинения правительству адмирала Колчака, с согласия и при поддержке японского командования в феврале 1919 г. решил создать так называемую "Великую Монголию" с центром на ст. Даурия. В новоявленном государстве Семенов видел себя главнокомандующим войсками. В его состав должна была войти и часть территории русского Забайкалья, населенная бурятами. Это являлось актом сепаратизма (**и даже своеобразным актом измены России**) со стороны Семенова" [14, с. 30].

Можно предположить, что причины негативной оценки атамана и его последователей в Забайкалье прежде всего касаются неразрешимого конфликта между разными перспективами локальности в регионе. Используя описанную К. Хамфри [18] ключевую для советского сознания дихотомию порядок/ беспорядок, можно предположить, что власть Семенова была представлена как ориентализированный (в смысле Э. Саида) кровавый беспорядок. В этой перспективе лишенная поддержки культурных центров страны и опирающаяся на полу-азиатах и азиатах власть Семенова видится как нелегитимный восточный произвол на фоне легитимной власти А. Колчака и сурового порядка советской власти. Демонический образ Семенова и его последователей – это единственная форма восприятия автономии в условиях национального консенсуса о нерушимости границ, установленных культурных иерархий и отношений центр-периферия. Нелояльность сообщества в этой перспективе является производной не столько от имени антигероя, сколько от невозможности представить новые формы мышления о регионе и формах его культурной и политической автономии. Как проводники невозможного Семенов и его последователи представляются хищниками: вне морали, вне политических сомнений и вне стабильной системы координат. Именно в этом контексте реальные и вымышленные преступления атамана становятся исключительными, они нелегитимны даже не в правовой, только в цивилизационной и моральной оценках. Представляя атаманину как голую волю нелегитимной власти, существующий

¹ Одна из моих читинских респонденток сообщила мне, что по ее воспоминаниям семеновский террор был страшнее и унизительнее сталинского.

консенсус исключает саму возможность независимого действия региональных акторов на основе собственных культурных и цивилизационных предпочтений.

"Не-место" для не-сообщества: отдавая приграничную территорию врагу

Советская модель границы-бастиона в азиатской части страны во многом продолжала позднеимперские попытки стерилизации приграничных территорий, контроля китайской и корейской миграции, полупринудительной седентаризации лояльных и выталкивания нелояльных кочевников в Турцию, Персию, Афганистан и Китай. Сочетание описанных Джеймсом Скоттом [23] глобальных процессов государственного переописания периферии с советской политикой агрессивной секуритизации проблемных территорий привело к трансформации приграничных территорий Внутренней Азии в относительно стерильную политическую зону, полностью подчиненную советским моделям культурной политики. Полувоенный режим советских приграничных территорий привел не только к массовому переселению на правый берег Аргуни эвенков, казаков и агинских бурят, но и систематическим перемещениям оставшихся жителей в рамках расказачивания, раскулачивания и укрепления границы [21]. Новая модель милитаризации границы привела к радикальным переменам в этнической и культурной структуре региона, усиленными массовой миграцией в Читинскую область жителей западной части СССР. Эмиграция, репрессии и массовая миграция полностью меняют облик региона и создают новую региональную культуру, полностью ориентированную на российские культурные центры и потерявшую связи с приграничными регионами Монголии и Китая. В период 1949–1986 гг. происходит синхронизация политики фронтального социализма в СССР и КНР, что окончательно маргинализируют гибридную культуру приграничных регионов и резко удлиняют культурную дистанцию между российской и китайской сторонами границы [25]. Вопрос, почему стерильные и милитаризованные приграничные районы были описаны в негативных категориях политического разнообразия, не может ставиться в простых категориях фактического несоответствия. Можно предположить, что мы имеем дело с более сложными и общими структурами массовых представлений об опасном политическом разнообразии приграничных районов СССР с их островами нетронутой советской модернизацией жизни. Пространственные представления о мире по ту сторону границы сочетались с темпоральными, создавая возможность встречи со сложным революционным прошлым с его бескомпромиссным императивом политического определения. Растиражированные в фильмах и театральных постановках образы гражданской войны, усиленные политикой коммеморации погибших от рук белых революционных героев, создавали коммуникативные декорации драмы встречи с революционным прошлым. В воспоминаниях советских солдат в Забайкалье и советского контингента в Монголии монгольская и забайкальская периферии давали возможность встречи с закрытыми для советских граждан деревнями казаков атамана Семенова. Валентин, бывший советский инженер в Монголии, вспоминал историю случившиеся с его другом в середине 80-х: *"У нас заканчивался бензин, и мы решили захватить в ближайшую деревню, по дороге встретили русскую женщину, которая сказала ехать к монголам, так как наши не любят советских и скорее всего нам не поздоровится. Мы навались на семеновскую деревню, и, слава богу, нам удалось уехать"*. Очень похожий сюжет о случайном попадании в несоветскую деревню часто встречается в воспоминаниях бывших солдат Забайкальского Военного Округа. Один из моих респондентов Максим так запомнил эту встречу: *"Мы шли через деревню и попросили воды у стариков в казачьей форме. Один из них согласился и пошел домой. Вышел с винтовкой и сказал: Проваливайте, красная сволочь! Поубиваю всех!"*

Эти рассказы отражают не только подсознательную готовность распознавания врага, но и своеобразную воображаемую географию фронта. Постоянно повторяющийся нарратив о выталкивании семеновцами советских из собственного пространства, не тронутого советизацией, фиксирует виртуальное семеновское пространство как рубеж между современной жизнью и навсегда утраченным прошлым, призывая которое легенда в своеобразный способ смешивает понятные

всем декорации гражданской войны и эмоциональную потребность в возможности не-советских моделей жизни. Колониальная идея опасности и враждебности пространства и населения приграничных районов интересна тем, что в метафорической форме представляет границу между советским порядком и не-советским хаосом. Главным производителем солдатской мифологии были учебные части Забайкалья, откуда они часто переносились солдатами в Монголию, создавая эффект реализма и глобальности феномена. Мои респонденты называли Семенова вездесущим, показывая постоянное и всеохватывающее присутствие легенды в солдатской жизни. Солдаты распознавали семеновцев даже в русских и бурятских детях из соседних деревень. Неофициальная солдатская песня хорошо иллюстрирует дискурсивное окружение советской части недружественным пространством и его людьми из прошлого:

В Песчанке горы из песка
-Крутом жара, пески, тоска...
-И нет друзей и нет подруг...
-Одни Семёновцы кругом, с обрезаем ждут вас за углом!²

Советские офицеры использовали легенды более инструментально: фронтальная опасность должна была предостеречь солдат от самовольного покидания воинской части. Алексей, служивший на границе с Китаем в конце 70-х, вспоминал: *"Офицеры часто говорили нам об опасности набега перешедших границу семеновских банд на нашу ракетную часть. В этих рассказах они приезжали на конях и садистически убивали советских солдат"*. Несмотря на абсурдность появления антикоммунистических партизан со стороны маоистского Китая, респонденты не помнили, чтобы эти истории воспринимались как абсолютно вымышленные. Именно приграничная локализация порождает фантазии о неправдоподобных возможностях полуминальных существ: появляясь и исчезая, они как бы существуют параллельно советскому приграничному режиму [9]. Ответ на вопрос, зачем тотальному государству люди без государства, непосредственно связан со сложной географией советского фронта. Парадоксально, возможность увидеть острова несоветского в стерильной зоне приграничных районов была связана с согласием восприятия приграничной территории как проходимой и частично не контролируемой. Восприятие границы как места, где государство перестает картографировать социальную и политическую реальность, создавало возможность предчувствия о местах, не только отдаленных от советской жизни, но и враждебных ей. Приграничная территория в этой перспективе – это сеть советских и не-советских мест, контролируемых разными временными режимами. Только символически теряя контроль над воображаемой территорией, можно увидеть и почувствовать врага везде. Виртуальная утрата контроля над приграничной территорией (описание стерильных районов в терминах неминуемой политической опасности) приводила к реальным усилиям бесконечной секуритизации приграничных районов. В этой перспективе враждебность пространства сливается с проекцией нелояльности приграничного населения: опасность анти-места становится отражением присутствия Атамана и его людей, которые, в свою очередь, могут быть распознаны только благодаря воображаемой географии советского фронта.

Нелояльность как дискурсивный выбор: "люди из прошлого" в советском и постсоветском настоящем

Какие группы должны были быть признаны наследниками сомнительной славы атамана. Прежде всего это жители бывших казачьих сел Забайкалья, местнорусские в Монголии и русские жители (бывшие и настоящие) Трехречья в Китае. Забайкальские колхозники из бывших казачьих (русских и бурятских) деревень, были обычными советскими людьми, единственно отличие которых состояло в сохранении неофициальной памяти о событиях гражданской войны в регионе. Местнорусские в Монголии – это смешанное сообщество потомков русских кре-

² Популярность этой песни фиксируют сайты бывших солдат Забайкальского военного округа. Ср. URL: http://zabvo.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?158276.30

Сообщество	Казаки из Трехречья	Китайские русские	Забайкальские казаки в СССР и их потомки	Монгольские русские
Базовая травма	красный террор	культурная революция	красный террор	голод 1928 г.
Внутреннее восприятие прошлого	рассказывание; счастливая жизнь в довоенном Трехречье; опыт "взрослого" наблюдения в СССР	японская оккупация; счастливая жизнь в послевоенном Трехречье; культурная революция	рассказывание; война; опыт символического врага в СССР	голод; опыт дискриминации
Внешнее (российское) восприятие	семеновцы; "настоящие" казаки; настоящие китайские русские	семеновцы; "настоящие" крестьяне; метисы/ "окитаенные" русские; китайцы	семеновцы	семеновцы; метисы/ "окитаенные" / омонголенные русские

Табл. 1. Восприятие прошлого фронтальных сообществ.

Источник: [21].

Table 2. Perceptions of the past of frontier communities.

Source: [21].

стьян, западных бурят, казаков и китайцев, бежавших от голода и коллективизации, и распознанное в словаре фронтальной нелояльности. Фантазия советских людей демонизировала эту группу, вписывая в этот миф нормальные черты периферийной и аграрной группы региона: метисацию, агрессию и билингвизм. "Семеновец" становится символом: агрессивного к советским жителям метиса, потомка врагов советской власти и человека, потерявшего связь с современной русской культурой. С другой стороны, сами местнорусские принимают это название как собственное, часто не до конца понимая его суть. В исторической перспективе существует как минимум два разных сообщества, систематически отождествляемые с именем русские из Трехречья. Одно из них – сообщество эмигрантов с доминированием в нем до 1950-х годов забайкальских казаков. Другое – группа, состоящая главным образом из потомков смешанных китайско-русско-монгольских семей православного вероисповедания и русской культурной ориентации, живущих в регионе сегодня [5]. Сочетание внутреннего и внешнего восприятия прошлого распознанных сообществ можно представить в табл. 1.

Все перечисленные группы объединяет укорененность в приграничной зоне, метисация и большее или меньшее влияние восточных культур (монгольской или китайской). Следует заметить, что все они не только существенно различались между собой, но часто не знали о существовании друг друга. Если, с точки зрения советских людей, восприятие этих сообществ полностью политизировалось, практически исключая дискурс этнической солидарности, то в случае фронтальных сообществ (за исключением забайкальцев) можно говорить о противоположном процессе: деполитизации прошлого и акцентах на этническую солидарность с жителями России. К сожалению, эти стратегии трудно назвать успешными. Сочетание проекций политической нелояльности со своеобразной формой географического плена приводит к отрицанию как советского, так и эмиграционного опыта стигматизируемых сообществ. Возможность семеновца стать лояльным гражданином абсолютна чужда легенде: семеновцы и советские живут в разных порядках и не влияют друг на друга. Люди из прошлого возбуждают разные чувства: страх, уважение, презрение, ненависть, – но только не сострадание и симпатию. Их чувства и намерения непонятны, они полностью в тени навязанной роли анти-

коммунистического хищника, что делает невозможным ни реальное отождествление, ни даже интерес к их внутренним дилеммам. Жалобы на глухоту советских со стороны монгольских русских и репатриантов из Трехречья показывают только асимметрический характер фантома: распознанный семеновец не может выйти из своей роли. Одна из моих респонденток описала полную противоречий жизнь в двух перспективах: нормального школьника советской школы в Монголии и распознанного члена сообщества врагов: *"Мы так до конца и не поняли, за что советские нас так ненавидели. Мы искренне хотели и практически были как они, но нас никто не слышал и не воспринимал всерьез. Мы должны были быть врагами, предателями, потомками белогвардейцев"*.

Каким образом советский колхозник, монгольский или китайский крестьянин русского происхождения или житель приграничного советского города могут быть распознаны в категориях фронтальной опасности. Можно предположить, что сила фронтальных мифологем – в их способности смешивать не только временные режимы, но и превращать сочетания географической локализации, антропологических черт и маргинального статуса в основу негативного политического обобщения. Алексей Михалев так описал связь между гражданским статусом русских в Монголии, историческим опытом фронтального бандитизма и инструментального использования сообщества как дисциплинарного инструмента:

"(.....) местнорусских определили как белогвардейцев и врагов. Сформированная модель объяснения происхождения местнорусских стигматизировала это общество и ставила перед ними задачу "искупить вину перед Родиной". Комплекс вины формировался посредством социальной эксклюзии – отсутствия доступа к политическим правам, к престижной работе, различия в уровне потребления, социальной дистанции" [10, с. 110].

Отказ от коммунистической идеологии в начале 90-х не был в состоянии радикально изменить ситуацию "распознанных субъектов". Все они продолжали восприниматься в категориях определенной нечистоты и тревоги со стороны доминирующего большинства. После 1991 г. местнорусские в Монголии перестали быть семеновцами, но так и не стали своими. Теперь их проблемой становится забайкальская аккумуляция, проявляющаяся в неканонических православных практиках и посещении шаманов и лам. Наиболее сложная ситуация у русских сообществ Китая. Казаки-репатрианты и их потомки до сих пор воспринимаются в свете советской версии гражданской войны, что приводит к абсолютно фиктивной политизации сообщества и заменой их реальной истории на адаптированные до новых условий старых советских клише (бывшие шпионы, бандиты, враги). Китайские русские подвергаются новому подозрению в неспособности быть русским при достигнутом уровне окитаевания [22]. Профессор А.Г. Янков так подытожил этнический статус сообщества:

"Официально там проживает около 1700 человек, считающих себя русскими. В основном это люди преклонного возраста, но много и 40-50-летних. Правда они в большинстве своем уже метисы" [6].

В этой перспективе "неправильное" православие местнорусских в Монголии, драма "окитаевания" китайских русских и "неправильное" (в перспективе новой исторической политики, связывающей Россию и СССР) поведение казаков в Трехречье до 1945 года во многом показывают силу политической географии советского фронта. Фактически по отношению к сообществам не преодолена перспектива фронтальной нелояльности: жизнь за границей приводит с точки зрения постсоветского общества либо к политической, либо к этно-расовой измене.

Советизация антисоветского: проблемы с нелояльностью и попытки их решения

Существует ли выход из замкнутого круга фронтальной нелояльности. Кроме описанных в предыдущей главе неудачных попыток де-политизации прошлого можно выделить две радикально разные стратегии освоения легенды: распознания себя как члена не-сообщества и аффирмативная ре-политизация жителей фронта как лояльных советских граждан, с риском для жизни помогавших со-

ветской разведке. Парадоксом советского периода истории региона является захват дискурсивного поля семеновской легенды жителями Восточного Забайкалья и создание компенсаторного дискурса на базе советских мифологем. Распознавая себя в кривом зеркале семеновского мифа, они становились частью великой драмы революции, своеобразно принимая как советскую темпоральность, так и советскую философию истории: теперь уже зверства семеновцев являются мудрой (дальновидной) попыткой атамана защитить казаков перед будущими страданиями, а сами герои легенды становятся притягательными благодаря силе антикоммунистического террора [21]. Причиной такого глубокого резонанса, казалось бы, абсолютно негативной проекции было сочетание локальности главных антигероев и парадоксально советский характер образа Семенова: решительного и безжалостного вождя готового на все для реализации своих целей. Локальность главного героя приводит к появлению многочисленных историй о дружбе с семьей Семенова, трансформируя образы бесчеловечных преступлений семеновцев в местную драму, вписанную в систему родственных и дружеских связей. Так, одна из моих родственниц сообщила мне в конце 80-х: *"Мама атамана Семенова была очень хорошим человеком. Все к ней хорошо относились. Наша семья продавали им продукты, и мы жили очень дружно"*. Не смотря на очевидные географические и исторические несоответствия, этот тип рассказов отражает попытки освоения трагических событий гражданской войны как локальной правды, несовместимой с советскими версиями истории региона. Кроме этого, Семенов становится символом поступка немыслимого для советского человека: смертельного вызова советской власти. Аффирмативное прочтение мифа противопоставило советскому обществу не столько автономную память о травме рассказывания, сколько активизирующее почтение травмы как результата достойного поражения в неравной борьбе. В этой перспективе страхи противника (советского общества) перед их (сообщества) испепеляющей мощью не только проясняют их жизненную ситуацию, но и позволяет спокойно и даже с гордостью принимать практики дискриминации. Эта форма распознавания врага в себе могла существовать только на основе советской пропаганды и в рамках закрытой границы. Остановка машин советской пропаганды, возвращение политически амбивалентных репатриантов и открытие отсутствия белогвардейского гнезда в Трехречье не только существенно снизило драматизм этой формы проживания прошлого, но и показало ее зависимость от советской культурной политики.

Противоположной стратегией аффирмативной политизации сообщества является выход из тени историй о судьбах сотрудников советской разведки в приграничных районах Китая. В исторической прозе, воспоминаниях и рассказах респондентов из Китая российскому сообществу предлагается рассказ о трагической судьбе русских эмигрантов, преданных советскому государству [1]. От бывших офицеров Семенова до простых крестьян невидимые советские патриоты символически смыывают общие обвинения в нелояльности и дают более разнообразный образ Трехречья как пространства трудного выбора, в котором выбор Родины (СССР) трагичен, но единственно возможен [11]. Новые герои сообщества гораздо понятнее старых (атаманов, сотрудничавших с японской армией). Их выбор СССР (России) показывает не только разнообразие судеб эмиграции, но и создает образ сообщества, преданного Родине в тяжелых условиях эмиграции и силой втянутого в конфронтацию. Этот новый вид героев (жертв) является очень интересной попыткой выйти за пределы конфронтации, включить жителей региона в постсоветский нарратив и показать фронтально-геополитическую лояльность группы. Трагедия лояльности наперекор собственному опыту, окружению и семье создает образ жертвы, искупающей первородный грех эмиграции из СССР и сотрудничества с его врагами. Кроме этого, смерть от рук японской контрразведки или несправедливое отношение к "патриотам" со стороны НКВД включает сообщество в трагический советский опыт страданий за страну и неза заслуженного наказания со стороны сталинской машины репрессий [19]. Дискурс о новых героях имеет ярко выраженную риторическую направленность: показывая кровь, пролитую за СССР,

или "неблагодарность" со стороны НКВД, он перечеркивает тем самым вину гражданской войны и создает новую историю группы, приемлемую и понятную для постсоветской России. Новые герои включают регион в советское прошлое, основное для памяти и точек отсчета постсоветской России. Несмотря на определенную моральную неоднозначность (репрессии 1945 года против жителей региона во многом опирались на агентурные данные), эта перспектива идеально подходит к современному российскому восприятию истории, в котором при распространенных симпатиях к белой гвардии считается, что после окончания гражданской войны истина была на стороне СССР. Дискурс тайной фронтальной лояльности показывает единственные эффективные механизмы преодоления социальной смерти и политической стигматизации. Дорога в современную Россию для фронтальных сообществ ведет через примирение с СССР. Российское общество не готово к конфронтации с альтернативными моделями политической идентичности и с антисоветским русским патриотизмом, не говоря уже о коллаборации с Квантунской армией.

Дискурс невидимой фронтальной лояльности является отражением асимметричного применения в России. Советизация памяти и не всегда последовательные попытки примирения сторон гражданской войны приводят к появлению имперской перспективы восприятия советского периода истории России. На наших глазах фактически создается механизм возвращения и легитимизации советского прошлого как целостного имперского проекта и победы над леворадикальным безумием революции и гражданской войны. Это объясняет и перенос общественного внимания с Ленина на Сталина как и одновременную героизацию белой и красной армии. Конечно, примирение не отменяет определенного неравенства: условием реабилитации героев белой борьбы является или своевременная смерть во время гражданской войны (А. В. Колчак), или решительный отказ от борьбы с красной армией после ее окончания (А. И. Деникин). Эти попытки имперского прочтения истории СССР во многом отвечают ожиданиям общества и воспроизводят элементы советской ментальной географии, сохранившиеся в массовом сознании. Следует заметить, что эта форма оправдания очень обманчива, так как вместо примирения предлагает усиление конфронтации. Если признать, что СССР был немного экзотической формой Российской Империи, то враги имперского проекта становятся врагами России. Вводя понятие единственно возможного выбора, она перечеркивает большинство биографий жителей Трехречья как предателей и коллаборантов. В отличие от коллективной вины фантомной нелояльности, новая перспектива не только создает видимость индивидуализации ответственности, но и новые формы нелояльности, подчиненные имперскому прочтению советской истории. Эти две радикально отличающиеся формы освоения негативного описания региона парадоксально взаимосвязаны. Триумфальное возвращение монументальных версий советского прошлого актуализирует попытки разобраться с семеновским прошлым региона.

В исследованиях над политической лояльностью принято рассматривать проекции и манифестации лояльности как динамический процесс, открытый альтернативам и подчиненный текущей культурной и социальной ситуации. Лояльность видится как трудный выбор субъекта среди многих культурных и профессиональных альтернатив, во многом первичный по отношению к классическим понятиям "идентичности" и "этничности". В представленной в статье перспективе фронтальной опасности драма нелояльности не в опасности выбора, а в невозможности соответствовать заданному уровню политической и культурной лояльности. Показанные примеры представляют непосредственно связанную с дискурсами фронтальной нелояльностью проблему несмыслимой вины людей, исключенных из воображаемого сообщества лояльных граждан и заключенных в территориальной ловушке политически опасной территории. В этой перспективе проблема нелояльности нерешаема, так как каждое новое решение порождает новые подорождения.

Заключение

Отношения кочевых культур с современным государством отличает поверхностное противоречие между создаваемыми официальными нарративами образами "угрозы" со стороны кочевников и реальными практиками ограничения автономии номадических или пост-номадических сообществ [24]. Тотальная секуритизация приграничных районов привела не только к принудительной седентаризации приграничного монгольского и эвенкийского населения, но к символическому распознаванию "угрозы" со стороны агро-номадического сообщества казаков, описанного в терминах фронтального бандитизма и неконтролируемой мобильности в периферийных приграничных зонах. Статья рассматривает на примере приграничных районов Внутренней Азии специфику советских мифологем фронтальной нелояльности, фиксирующих приграничное пространство в перспективе неизбежной политической нечистоты. В этой перспективе захваченное воображенными врагами приграничное пространство символически представляет действие приграничного режима: постоянную борьбу советского порядка с несоветским беспорядком. Грамматика и аксиология фронтальной мифологии сыграла большую роль в постсоветский период, определяя дискурсивные и эмоциональные аспекты попыток возвращения в полузапрещенное прошлое. Культурно близкие и политически далекие, находящиеся вне и внутри страны, опасные и жалкие, сильные и слабые эти воображаемые не-сообщества не исчезли вместе с СССР и его агрессивным граничным режимом. Советские мифологемы фронтальной нелояльности продолжают жить, принимая новые формы и выполняя новые функции в уже постсоветской ситуации. Это показывает не только сложное восприятие российско-китайских приграничных районов как пространства возможного обострения, но и трудности восприятия несоветского опыта и альтернативных советским политическим и культурным идентичностей современным российским обществом. Можно предположить, что советский опыт границы-бастиона сохраняется в латентной форме в массовом сознании и проявляется не только в проблемах с восприятием российских приграничных сообществ, но и в настороженном отношении ко всему, что приходит из-за невидимых советских рубежей.

Литература

1. Апрельков В. Батюшка Забайкал. М.: Граница, 2009. 152 с.
2. Аблажей Н.И. С Востока на Восток. Российская эмиграция в Китае, Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. 300 с.
3. Аргудяева Ю.В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР, Владивосток, 2006. № 4. С. 121–134.
4. Базаров Б.В. Неизвестное из истории панмонголизма. Улан Уде: БНЦ СО РАН, 2003. 67 с.
5. Башаров И.П. Русские Внутренней Монголии краткая характеристика группы // Азиатская Россия: миграция, регионы и регионализм в исторической динамике / отв. ред. Б.В. Базаров Иркутск: Оттиск, 2010. С. 301–307.
6. В китайском Трехречье насчитали 1700 русских. URL: <https://zab.ru/amp/news/28927> (дата обращения: 01.02.2023).
7. Василевский В.И. Забайкальское казачье войско в годы революции и Гражданской войны. Чита: Ред.-изд. центр пресс-службы Управления судебного департамента Чит. обл., 2007. 172 с.
8. Курас Л.В. Атаман Г.М. Семенов и барон Р.Ф. Унгерн в монгольской революции 1921 г. // Вестник Бурятского Госуниверситета. 2011. № 8. С. 167–172.
9. Михалев А. "Русский квартал" Улан-Батора: коллективная память и классификационные практики // Вестник Евразии. 2008. № 2. С. 6–28.
10. Михалев А. Создавая врага: словарь семеновщины в Монгольской народной республике // Обозреватель-Observer. 2015. № 9. С. 105–119.
11. Перминов В.В. Наказание без преступления, Чита: Пресс-служба управления Судебного Департамента в Читинской области, 2008. 96 с.
12. Ремнев А.В. Казачество в колонизационных процессах конца XIX – начала XX веков // Восток России: миграции и диаспоры в переселенческом обществе. Рубежи веков / науч. ред. В.И. Дятлов. Иркутск: Оттиск, 2011. С. 87–104.
13. Романов А.М. Особый Маньчжурский отряд атамана Семенова. Иркутск: Оттиск, 2013. 308 с.
14. Савченко С.Н. Дальневосточный казачий сепаратизм в годы гражданской войны (1918–1920) // Россия и АТР. 2007. № 4. С. 25–40.

15. Семенов Г.М. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. 1904 – 1921. М.: Центрполиграф, 2007. 304 с.
16. Braidotti R. *Nomadic Theory. The Portable Rosi Braidotti*, New York: Columbia University Press, 2011. 416 p.
17. Holquist P. To Count, to Extract, and to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia // *A State of Nations: Empire and Nation-making in the Age of Lenin and Stalin* / Ed. by R. G. Suny and T. Martin. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 111–144.
18. Humphrey C. Traders, "disorder," and citizenship regimes in provincial Russia// *Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World.* / Ed. by M. Burawoy and K. Verdery. New York: Rowman and Littlefield, 1999. P. 19–52.
19. Humphrey C. Stalin and the Blue Elephant: Paranoia and Complicity in Postcommunist Metahistories // *Diogenes*. 2002. № 49 (194). P. 26–34.
20. Lindgren E. J. An Example of Culture Contact without Conflict: Reindeer Tungus and Cossacks of Northwestern Manchuria // *American Anthropologist*. 1938. № 40(4). P. 605–621.
21. Peshkov I. Politization of Quasi-Indigenes on the Russo-Chinese Frontier// *Frontier Encounters: Knowledge and Practices at the Russian, Chinese and Mongolian Border*. Ed. by F. Bille, G. Delaplace and C. Humphrey. Cambridge: Open Book Publisher, 2012. P. 165–183.
22. Peshkov I. Usable Past for a Transbaikalian Borderline Town. "Disarmament" of Memory and Geographical Imagination in Priargunsk // *Inner Asia*. 2014. № 16. P. 95–115.
23. Scott J.C. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale: Yale University Press, 1998. 445 p.
24. Scott J. *The Art of Not Being Governed: an Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 2009. 464 p.
25. Urbansky S.A. Very Orderly Friendship: The Sino-Soviet Border under the Alliance Regime, 1950–1960 // *Eurasia Border Review. Special Issue on China's Post-Revolutionary Borders, 1940s-1960s*. 2012. Vol. 3. P. 35–53.
26. Zahra T. Imagined non-communities: national indifference as a category of analysis // *Slavic Review*. 2010. № 69. P. 93–119.

References

1. Aprelkov V. *Father Zabaikal*. M.: Granitsa, 2009. 152 p. (In Russ.).
2. Ablazhei N. I. *From East to East. Russian emigration to China*. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2007. 300 p. (In Russ.).
3. Argudiaeva Ju.V. Russian population in the Three Rivers Delta // *Russia and the Asia-Pacific region*. 2006. № 4. P.121–134. (In Russ.).
4. Bazarov B.V. Unknown from the history of Panmongolism. Ulan Ude: IMBIT SO RAN, 2003. 67 p. (In Russ.).
5. Basharov I.P. Russians of Inner Mongolia brief description of the group // *Asian Russia: migrations, regions and regionalism in historical dynamics* / Ed. by B.V. Bazarov. Irkutsk: Ottisk, 2010. P. 301–307. (In Russ.).
6. In the Chinese Three Rivers, 1,700 Russians were counted. URL: <https://zab.ru/amp/news/28927> (accessed 01.02.2023) (In Russ.).
7. Vasilevskiy V.I. *The Trans-Baikal Cossack army during the revolution and the Civil War*, Chita: Center of the press service of the Judicial Department of the Chita Region, 2007. 172 p. (In Russ.).
8. Kuras L.V. Ataman G.M. Semenov and Baron R.F. Ungern in the Mongolian revolution of 1921 // *Bulletin of the Buryat State University*. 2011. № 8. P. 167–172. (In Russ.).
9. Mihalev A. "Russian 'quarter'" in Ulaanbaatar: collective memory and classification practices // *Bulletin of Eurasia*. 2008. № 2. P. 6–28. (In Russ.).
10. Mihalev A. *Creating an Enemy: A Dictionary of Semyonovshina in the Mongolian People's Republic* // *Observer-Observer*, 2015. № 9. P. 105–119. (In Russ.).
11. Perminov V.V. Punishment without a crime. Chita: Press service of the Judicial Department in the Chita region, 2008. 96 p.
12. Remnev A.V. Cossacks in the colonization processes of the Late Nightieth and early Twentieth centuries // *The East of Russia: migration and diasporas in the resettlement society*. *Frontiers of Centuries* / Ed. by V. Dyatlov. Irkutsk: Ottisk, 2011. P. 87–104. (In Russ.).
13. Romanov A.M. *Special Manchurian detachment of Ataman Semenov*. Irkutsk: Ottisk, 2013. 308 p. (In Russ.).
14. Savchenko S.N. *Far Eastern Cossack Separatism during the Civil War (1918–1920)* // *Russia and the Asia-Pacific Region* 2007. № 4. Pp. 25-40. (In Russ.).
15. Semenov G. M. *About me. Memories, thoughts and conclusions. 1904–1921*. М.: Centrpoligrafm, 2007. 304 p. (In Russ.).
16. Braidotti R. *Nomadic Theory. The Portable Rosi Braidotti*, New York: Columbia University Press, 2011.

416 p.

17. Holquist P. To Count, to Extract, and to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia // *A State of Nations: Empire and Nation-making in the Age of Lenin and Stalin* / Ed. by R. G. Suny and T. Martin. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 111–144.

18. Humphrey C. Traders, "disorder," and citizenship regimes in provincial Russia // *Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postcolonial World.* / Ed. by M. Burawoy and K. Verdery. New York: Rowman and Littlefield, 1999. P. 19–52.

19. Humphrey C. Stalin and the Blue Elephant: Paranoia and Complicity in Postcommunist Metahistories // *Diogenes*. 2002. № 49 (194). P. 26–34.,

20. Lindgren E. J. An Example of Culture Contact without Conflict: Reindeer Tungus and Cossacks of Northwestern Manchuria // *American Anthropologist*. 1938. № 40(4). P. 605–621.

21. Peshkov I. Politization of Quasi-Indigeness on the Russo-Chinese Frontier // *Frontier Encounters: Knowledge and Practices at the Russian, Chinese and Mongolian Border*. Ed. by F. Bille, G. Delaplace and C. Humphrey. Cambridge: Open Book Publisher, 2012. P. 165–183.

22. Peshkov I. Usable Past for a Transbaikalian Borderline Town. "Disarmament" of Memory and Geographical Imagination in Priargunsk // *Inner Asia*. 2014. № 16. P. 95–115.

23. Scott J.C. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale: Yale University Press, 1998. 445 p.

24. Scott J. *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 2009. 464 p.

25. Urbansky S.A. Very Orderly Friendship: The Sino-Soviet Border under the Alliance Regime, 1950–1960 // *Eurasia Border Review. Special Issue on China's Post-Revolutionary Borders, 1940s-1960s*. 2012. Vol. 3. P. 35–53.

26. Zahra T. Imagined non-communities: national indifference as a category of analysis // *Slavic Review*. 2010. № 69. P. 93–119.



Иван Олегович ПЕШКОВ, канд. экон. наук, доцент кафедры истории Московской высшей школы социальных и экономических наук, г. Москва, Россия, e-mail: ivanpeshkov2007@ya.ru

Ivan O. PESHKOV, Candidate of Economics, Associate Professor, Department of History, Moscow School of Social and Economic Sciences, Moscow, Russia, e-mail: ivanpeshkov2007@ya.ru

Поступила в редакцию
(Received) 27.07.2023

Одобрена после рецензирования
(Approved) 30.08.2023

Принята к публикации
(Accepted) 08.09.2023